

УДК 141.32+128

Михаил Алексеевич Малышев
профессор Автономного университета
штата Мехико Мексика,
член редколлегии научных журналов
«La Colmena», «Coatapec»,
«Ciencia ergo sum»
Мексика, г. Мехико
mijailmalychev@yahoo.com.mx

АНАТОМИЯ ПЕРЕЖИВАНИЯ НАДЕЖДЫ

Публикуемая статья посвящена феноменологическому анализу переживания надежды. Автор пытается определить место надежды как предвосхищения будущего, в структуре времени, связать данную категорию с родственными ей понятиями (тоска, тревога, отчаяние), выявить сходство и различие между надеждой и доверием, оценить роль надежды в мотивации поведения агентов истории и, наконец, раскрыть специфику существования, лишённого надежды, опираясь на свидетельства узников лагерей смерти Колымы и Освенцима.

Время, надежда, доверие, безнадежность, тревога, смысл, переживание.

«Измученные надеждой, мы всегда чего-то ждем;
сама жизнь – это гипостазированное ожидание».

Эмиль Мишель Чоран.

Время и надежда

Мгновение – это образ настоящего без примеси прошлого и будущего. Сознание человека сопротивляется бытию мгновения, растворяет его в памяти или надежде, тогда как в действительности реальное время – это настоящее. И только на основе становления настоящего появляются память, надежда и даже вера в потусторонний мир. Настоящее существует, поскольку никто не может хотя бы на мгновение выйти за его пределы, тогда как будущее и прошлое «существуют», поскольку мы *еще* не вошли или *уже* вышли за его

границы. Следовательно, время – это бесконечная серия *теперь*, которое трансформирует *еще* в *уже*.

Если мы уничтожим сознание, то прошлое и будущее исчезнут, а настоящее превратится в единственный модус времени. Память и надежда – это антиподы бытия мгновения. Однако наше сознание не может сосредоточиться на мгновении настоящего, то и дело соскальзывает к мысли о будущем или к воспоминанию прошлого. С другой стороны, какой бы смутной и фрагментарной не была наша память, какой бы хрупкой и ненадежной не казалась нам надежда лишь опора на опыт прошлого и предвидение будущего способны создать предпосылки для понимания значения настоящего. Согласно Эрнсту Блоху, «теперь», в которое мы постоянно погружены, предстает перед нами как нечто смутное и неотчетливое. «Теперь» – это место, в котором находится непосредственный источник переживаний, однако непосредственно переживаемое менее всего переживается. И только когда «теперь» исчезает в памяти или становится предметом надежды, оно не только проживается, но и переживается. Теперь – это непосредственно сущее, скрытое во тьме мгновения, и только то, что возникает или исчезает, обладает дистанцией, требуемой сознанием для его переживания. «Что» и «теперь», мгновение, в котором мы находимся, грызет нас, но само оно нами не переживается» [5, 339]. Итак, только настоящее – это темпоральная реальность. Парадокс состоит в том, что прошлое и будущее как эпифеномены сознания не обладают онтологическим статусом, хотя только вспоминая прошлое и надеясь на будущее, человек может выработать понятие времени. Прошлое и будущее «существуют», но не как реальность *sui generis*, а как воспоминание или предвосхищение. Именно потому, что прошлое и будущее не существуют в качестве темпоральной реальности, они зависят от сознания и воли переживающего их человека.

Жить в настоящем – отнюдь не значит распрощаться с прошлым, как это свойственно легкомысленно-беззаботному сознанию, с его девизом «после нас – хоть потоп». Мудрость – это не амнезия, ибо человек не может существовать в настоящем, не обращаясь к опыту прошлого. Именно потому, что прошлое не существует, мы остро ощущаем тесную с ним преемственность, так как нуждаемся в «капитале» накопленного опыта для его использования в достижениях и открытиях настоящего и в надежде на его применение в будущем. Человек, лишенный исторической памяти и отвергающий всякую связь с традициями прошлого – выскочка. Хотя он и не признает своего духовного родства с предшествующими поколениями,

в действительности он живет на ренту с «капитала культуры», завещанного ему предками. Согласно Владимиру Янкелевичу, прошлому присуще чувство долга, но сам этот долг отнюдь не свидетельство того, что прошлое реально существует. Именно потому, что прошлое исчезло, кануло в небытие, наш долг извлечь его из забвения, «поселить» его в настоящем, оплодотворив сокровищами исторического опыта то, что мы сейчас делаем и над чем размышляем.

То же самое, *mutatis mutandi*, можно сказать и о будущем. Что такое жизнь, как не вечные заботы в настоящем, питаемые неизменной иллюзией уменьшить их бремя в будущем. На протяжении многих столетий идея лучшего будущего служила предметом романтических мечтаний, источником высоких идеалов добра, справедливости и счастья. Но эта же идея нередко превращалась в ненасытного идола, на чей алтарь человечество возложила ни с чем не сравнимые жертвы. Разумеется, на будущее следует возлагать надежду, о грядущем следует проявлять заботу, но не потому, что оно реально существует и исторически непреложно, а напротив, именно потому, что оно еще не наступило, следовательно зависит, хотя и в неполной мере, от того, что мы здесь и теперь о нем думаем и как практически готовимся к его осуществлению.

Абсолютизируя неодолимость поступательного развития истории, историцизм впадает в идолопоклонство перед будущим, которое получает свое завершение в идее построения утопического общества. Согласно этой идее, история развивается по направлению к светлому будущему, что является само по себе благой целью и отвечает глубоким потребностям его агентов. Стало быть, императив истории обязывает каждого человека содействовать осуществлению ее законов, ибо в истории всегда побеждает тот, кто познает ее курс и, что особенно важно, умеет облегчить ее «родовые муки», в которых рождается «царство светлого будущего». Этот дискурс исходит из принятой на веру предпосылки, будто проекты и идеалы «светлого будущего» обладают надвременной значимостью и никогда, ни при каких обстоятельствах не исчезнут с исторической арены.

«Апостолы веры» в светлое будущее требовали от своих адептов искать в борьбе за эти благородные идеалы свое высшее предназначение, полагая, что со смертью старых борцов на смену им придут новые поколения, которые обязательно подхватят знамя своих предков и доведут их «священное дело» до окончательного триумфа. Однако, как показала сама же история, не существует гарантии того, что человек будущего, на чей алтарь его отцы и деды возложили непомерные жертвы, не подвергнет критике их благородные

жесты и поступки, которые они считали образцами героизма и святости. Предупреждая о вреде идолопоклонства перед историей, Жан-Поль Сартр писал о том, что должен ограничиться тем, что видит и не быть уверенным в том, что его товарищи по борьбе после его смерти возобновят его работу и доведут ее до максимального совершенства, ибо они – свободные люди, а стало быть они обладают свободой решать завтра то, каким будет человек... [16, p. 18].

Критика историцистского утопизма не означает, что человек не способен предвосхищать ход предстоящих событий, предвидеть перспективы, сопоставлять вероятность победы или поражения и активно двигаться к достижению поставленных целей. С точки зрения Хосе Ортеги-и-Гассета, в любое *теперь* мы занимаемся решением наших будущих проблем, решением того, кем мы еще не являемся и кем мы хотели бы стать. Действие, предвосхищающее само действие, есть выражение озабоченности. Человек – это странное существо, обладающее редкой привилегией существовать в будущем [15, p. 164].

Озабоченность будущим нередко осуществляется за счет пренебрежения настоящим. Этот парадокс был подмечен еще Блезом Паскалем, который писал, что «о настоящем мы почти не думаем, а если и думаем, то в надежде, что оно подскажет нам, как разумнее устроить будущее. Мы никогда не ограничиваем себя сегодняшним днем: настоящее и прошлое лишь средство, единственная цель – будущее. Вот и получается, что мы никогда не живем, а лишь располагаем жить и, уповая на счастье, так никогда его и не обретаем» [1, с. 148]. Если продолжить эту мысль, то можно придти к заключению: человек, приносящий настоящее в жертву будущему, рожден не столько для наслаждения нынешним счастьем, сколько для переживания горечи его утраты или предвкушения радости, связанной с его предстоящим наступлением. И действительно, немало людей только и делают, что готовятся к будущему. И к этой надежде на лучшее будущее, увы, нередко сводится весь смысл их существования в настоящем. Но если содержание настоящего исчерпывается надеждой на будущее, то такое настоящее не является вполне *настоящим*. Для идолопоклонников будущего настоящее – это лишь набросок, который в будущем превратится в подлинный шедевр. Ожидая наступление этого «шедевра», они проводят свою жизнь в радужных мечтах о нем, так и не догадавшись, что желанное счастье и есть тот этюд, который они выбрасывают в настоящий момент.

Нередко доблестные поступки или необычайные похождения совершаются в надежде на повествование о них в будущем. Когда мы

становимся участниками или свидетелями необычайных событий, то наше удивление подогревается тем, что мы воображаем себя в роли будущих рассказчиков необыкновенных историй. Разумеется, надежда на рассказ о будущем событии, развертывающемся в настоящем, может сообщить ему важность. Но только тогда, когда это событие превратится в прошлое, мы сможем подтвердить или опровергнуть правильность сегодняшней оценки. Спешка и суэта повседневной жизни нередко принуждают нас срочные дела принимать за важные, а действительно важные решения откладывать до лучших времен, которые, увы, никогда не наступят. Настоящее превращается в заложника будущего, если по любому незначительному поводу мы апеллируем к последнему. Например, сейчас я чувствую себя превосходно, но меня беспокоит, что это настроение может быстро улетучиться, и «забота» о сохранении радости в будущем лишает меня возможности наслаждаться безоблачным существованием в настоящем.

С другой стороны, пренебрежительное отношение к будущему способно превратить нас в праздных «курортников», не знающих как убить свое «вечное» настоящее. Человек, утративший надежду на будущее, казалось бы мог наслаждаться настоящим, но эта мысль даже и не приходит ему в голову. Настоящее, изолированное от будущего, как правило, ограничивается заботой об удовлетворении элементарных потребностей повседневного существования. Сама мысль о возможности крушения надежды в будущем способна отравить человеку воспоминание о былом счастье, которое он реально переживал в прошлом предвидении его достижения. Стало быть, наша жизнь – это надежда на встречу с будущим, которая в известном смысле подчиняет себе и прошлое, и настоящее. Однако как бы ни был человек умудрен уроками прошлого, этого опыта никогда не достаточно, чтобы всегда находиться на высоте будущих вызовов. Может быть поэтому в начале каждого новаторского предприятия риск неизведанности, соблазн новизны и надежда на успех перевешивают неудобства, вызванные затратой дополнительных усилий и ненадежностью ожидаемых результатов. Иногда только дерзание, исполненное надежды на осуществление заветной цели, способно примирить человека с превратностями судьбы, подстерегающими его на пути ее осуществления. Стало быть, человек не может пребывать в состоянии непрерывного довольства собой, не возлагая надежды на будущее и не пытаясь преобразовать свое настоящее. Если бы человек всегда жил в полном согласии с самим собой, то он никогда бы не употреблял глаголов в сослагательном наклонении, ни о ком бы не заботился, ни к чему бы не стремился, ни на что бы не

надеялся и ни о чем бы не мечтал, словом, он жил бы в блаженстве ангельского идиотизма. Но кто ничего не ждет и ни на что не надеется, для того воспоминание о прошлом и монотонное восприятие настоящего и есть то, что предстоит переживать в будущем.

Надежда и тревога

Переживание будущего выражается в таких понятиях как доверие, вера, надежда, мечта, страх, неуверенность, растерянность, разочарование, фрустрация, отчаяние, смирение. Осью, вокруг которой вращаются эти аффективные чувства, является надежда и сопутствующая ей тревога. Можно сказать, что хотя у надежды и тревоги «матери» разные, зато «отец» – общий, и зовется он риском. И тем не менее надежда – это не только риск, но и предчувствие радости, связанной с возможностью достижения будущей цели. Если бы надежда воспринималась только как риск, а не как предвкушение успеха, то в мире, возможно, обитало бы меньше разочарованных, хотя сама надежда, вероятно, утратила бы значение стимула в осуществлении будущих целей. Надежда – это «агент» будущего в настоящем: она дарит нам ощущение радости в связи с ожиданием реализации наших желаний, хотя, разумеется, сами эти желания могут оказаться неосуществимыми или осуществимыми только частично. Эрнст Блох полагал, что надежда – это предвосхищение *еще-до-сих-пор-неосознанного*, того, что находится в настоящем, но уже предчувствует будущее. Немецкий философ утверждал, что предвосхищение еще не достигнутого – важное свойство сознания человека, которое исходя из ставшего и явленного предвосхищает становящееся и непроявленное.

Итак, что же такое надежда? Во-первых, это желание, лишенное того, что могло бы ее сейчас удовлетворить. Во-вторых, это желание, о котором мы достоверно не знаем – осуществится оно или нет. Кто лелеет надежду, если ему точно известно, что желаемое наступит? И наконец, в третьих, надежда – это желание, реализация которого не вполне зависит от намерений нашей воли. Мы не всегда можем и не вполне знаем, а потому – надеемся и одновременно тревожимся в связи с тем, что наша надежда, возможно, не сбудется. Спиноза даже считал надежду выражением «бессилия души». И тем не менее жизнь человека немислима без надежды, хотя бы потому, что будущее всегда открыто навстречу новым возможностям.

Какими бы твердыми ни были наши намерения осуществить поставленную цель и какими бы предусмотрительными ни были

наши планы, мы никогда не можем быть абсолютно уверенными в том, что наши цели и намерения полностью совпадут с конечными результатами. Можно предположить, что если бы в своих планах и проектах мы могли полностью предвидеть результаты собственной деятельности, то, вероятно, по силе своей проницательности сравнялись бы с провидением Бога. Но даже сам Всевышний, создав первого человека, увы, допустил серьезный промах: он не предусмотрел всех печальных последствий его будущего грехопадения.

Надежда и тревога идут на расстоянии друг от друга, когда ожидают большого преимущества в случае выигрыша и боятся небольшой неприятности в случае проигрыша, как это, например, случается в лотерее. Иногда они идут «в обнимку», когда боятся худшего (например возможности умереть) и надеются (как на чудо) на возможность выздороветь. Достигнутая цель кладет конец и надежде, одушевлявшей ее осуществление, но новая цель рождает новую надежду, которая черпает свое вдохновение в возможности реализации будущего проекта и в ностальгии по поводу ушедшей в прошлое радости.

Мы не можем лелеять надежду на то, чем располагаем, но мы хотим сохранить то, чем уже обладаем. Стало быть, Платон не прав, утверждая, что всякое желание – это стремление получить то, чего нам не хватает. Нельзя отождествлять желание и надежду, ибо не всякое желание выражает нехватку. В действительности нехватка и желание ее восполнить свойственны надежде, которая, будучи одним из модусов желания, полностью его собой не исчерпывает. Возможность – это необходимая предпосылка для возникновения надежды, но только желание превращает надежду в достаточное условие ожидания ее осуществления, которое, увы, может и не произойти. Желание удержаться в пределах возможного, делая нас реалистами, не всегда предохраняет от неудовлетворенности, которая выталкивает нас из круга реальных забот в сферу грез и мечты.

Многие наши эмоции связаны с будущим, но только любовь может быть названа «аффектом надежды». Но этот аффект – не слепое упование, а скорее трепетное предчувствие, ибо какой бы лучезарной не была надежда влюбленного на будущее счастье, он понимает, что оно зависит не только от его желаний, но и от ответного чувства возлюбленного. Влюбленность, особенно на начальном этапе своего развития, когда зарождающееся чувство еще не окрепло и не отлилось в устойчивую конфигурацию доверия, пронизана трепетом ожидания. Каждая встреча с любимым – источник огромной радости, и, наоборот, его отсутствие вызывает беспокойство и тре-

вогу. Вот типичная сцена: влюбленный ждет свою возлюбленную, и время тянется для него мучительно медленно. Он томится смутным предчувствием, сгорает от нетерпения, лихорадочно считает секунды. Если возлюбленная задерживается, то влюбленный покрывается холодным потом, становится бледным, его посещают мрачные мысли; затем тревога переходит в отчаяние, и наступает тоска: «Возлюбленная не пришла – значит, она меня не любит». Иногда влюбленный притворяется, будто занят другим делом и никого не ждет. Но все его уловки напрасны: влюбленный приговорен ждать и терзаться надеждой. Перефразируя изречение Декарта, можно сказать: «Я надеюсь и жду, следовательно, я влюблен».

Как конститутивный атрибут бытия человека надежда имеет ключевое значение на всех этапах жизни – от рождения и до смерти. Можно сказать, что смерть – это трагедия уже потому, что люди, как правило, умирают раньше, чем угасает их надежда жить, а тем более наслаждаться жизнью. С другой стороны, как это не парадоксально, человек, сводящий счеты с собственной жизнью, также питает надежду: он надеется на освобождение от отчаяния, на которое его обрекают перипетии его незаладившегося существования.

Будущее – это то, чего еще нет, но что может произойти, когда оно превратится в настоящее. Завтрашний день придет, в этом нет и быть не может никакого сомнения. Другое дело, каким окажется этот день – солнечным или дождливым, веселым или печальным. А может и так случится, что когда этот день наступит, то уже не останется никого, кто мог бы его встретить? Будущее – это загадка, возможность, которая может оказаться такой, а может быть и другой. И это рождает надежду, достижение которой только отчасти зависит от нашей воли, ибо какой бы железной не была воля, она не способна раз и навсегда устранить побочные нежелательные эффекты, а стало быть и вероятность отклонения намеченных целей от достигнутых результатов. Вечный парадокс: если будущее распахивает перед нами новые возможности, то прошлое заставляет глубже осознавать причины невозможности их осуществления. Завтра непременно придет, но наступит оно как сегодня и, не исключено, что проза сегодняшнего дня похоронит романтику надежды, которую вчера мы лелеяли на завтра.

В каждое мгновение мы находимся в *теперь*, но надежда делает его не вполне пригодным для обитания, «выталкивая» нас из настоящего в будущее в предвкушении достижения чего-то лучшего или в стремлении сохранить или упрочить однажды приобретенное. Когда надежда на достижение желаемого подвергается угрозе, мы

боремся против препятствий, мешающих реализации поставленных целей. А когда угроза превышает наши возможности обрести желаемое, то возникает чувство растерянности, страха и отчаяния. Существование человека немислимо без обуздания угроз, порожденных вторжением в настоящее неизвестного будущего. Как существо телеологическое человек не может существовать, не ставя перед собой целей и не лелея надежды на их успешное осуществление. Можно сказать, что предрасположенность к осуществлению цели предшествует последней, ибо сама цель рождается потому, что *телос* – имманентно присущ человеческой экзистенции.

Окрыленный надеждой, человек действует, но его действия всегда протекают в конкретной ситуации, которую он должен принять во внимание, чтобы эффективнее осуществлять свои цели. Стало быть в развертывании целеполагающей деятельности следует различать два момента: первый направляется нашим сознанием, способностями и волей, а второй зависит от развертывания внешних событий, от игры случайности, от благоприятного или неблагоприятного расклада обстоятельств. Каким бы ясным и предусмотрительным не было наше сознание, какой бы твердой и гибкой не была наша воля, какими бы разносторонними и изошренными не были наши способности, они не могут полностью вытеснить надежду по той простой причине, что мы не в состоянии заранее просчитать всю гамму возможных обстоятельств и прежде всего появление непредвиденных событий и их возмущающего влияния на осуществление намеченной цели. Во временной зазор, отделяющий цель от результата, нередко вклинивается случайность, которая развенчивает иллюзию полного торжества воли над будущим и не позволяет полностью устранить из переживания последнего разочарования и отчаяния – этих непослушных детей «надежды».

Надежда – это успокоительное снадобье, не позволяющее нам стать жертвами агрессии сегодняшних забот. Но нередко надежда опьяняет, что мешает предвидеть опасности, притаившиеся в будущем. Однако с другой стороны, предвкушение радости, свойственное надежде, предается забвению намного быстрее, нежели цель, воплотившаяся в конкретный результат. Например, вчера я с нетерпением ожидал прихода радостного события, а сегодня переживаю с ним встречу. Через некоторое время событие и страстное ожидание его прихода исчезнут в прошлом и будут храниться в моей памяти, которая (и в этом заключается парадокс) больше склонна вспоминать реальное событие и меньше ту страстную надежду, с которой я мечтал его встретить, хотя в действительности все выглядело совсем иначе.

Достигнутый результат, ставший чем-то привычным, заслоняет в памяти человека, лелеявшего надежду, романтику ожидания и предвкушение счастья. Нередко удовольствие от предвкушения надежды на осуществление будущей цели затмевает радость, связанную с достигнутым результатом либо потому, что сам этот результат оказался скромнее возложенных на него ожиданий, либо потому, что надежда невольно преувеличила возможности будущего свершения. Кто надеется только на лучшее, тому психологически трудно перестроиться на подготовку встречи с худшим. Даже намерение удержаться в пределах возможного, делая нас реалистами, не всегда предохраняет от чувства неудовлетворенности. Можно предположить, что человек был бы лучше подготовлен к превратностям собственной жизни, если бы не слишком уповал на будущее и умел поставить предел перерастанию надежды в иллюзию. Однако стоическое отношение к жизни, смягчая отчаяние, далеко не всегда избавляет от горечи разочарования.

Время повседневных забот препятствует взрослым удивляться жизни, тогда как детям неведомо беспокойство о завтрашнем дне, и это сообщает им радость просто жить в этом мире. Стало быть доверчивое ожидание, беззаботность – это легкокрылая надежда. С точки зрения испанского философа Педро Лаина Энтральго, жить «без-заботно» – значит ожидать наступления будущего, спокойно и радостно доверять тому, что наши надежды, связанные с безоблачным ожиданием грядущего, благополучно осуществляются [12, р. 555]. Но существование безоблачного мира детства возможно только благодаря неустанной заботе взрослых. В отличие от ребенка зрелый человек обладает опытом скорости течения соответствующих процессов и прежде чем начать какое-либо предприятие прикидывает заранее, какие затраты времени потребуются на его осуществление и это, несомненно, умеряет нетерпение надежды на реализацию желания. Мир неподатлив нашим намерениям, и требуется немало терпения прежде чем затраченное время начнет приносить свои долгожданные плоды. Можно сказать, что терпение – это «банка законсервированной надежды», которую надо уметь во время «открыть и съесть», иначе она «взорвется» от отчаяния или «закиснет» от скуки. Стало быть терпеливое ожидание и трезвый учет времени, необходимые для осуществления поставленных целей, – неотъемлемый атрибут жизненной зрелости. Конечно, человек может ничего не делать, но, увы, он не может устранить последнее препятствие на пути полного безделья – перестать заботиться о поддержании собственного существования. Только превратив надежду

в заботу, человек способен осуществить поставленную цель, хотя, далеко не всегда именно ту, на которую он первоначально надеялся. Вчерашний день награждает нас опытом, завтрашний – надеждой, а сегодняшний – заботой, остужающей горячее нетерпение надежды холодной трезвостью опыта.

Доверие

Надежда и ожидание включают в себя обещание и обязательство. Например, когда я о чем-то спрашиваю своего собеседника, то я налагаю и на себя обязательство дождаться от него ответа, а если собеседник мне что-то обещает, то я надеюсь, что он и себя свяжет данным мне словом. Рождая доверие, обещание делает нашу жизнь более предсказуемой, предохраняет от соблазнов утопической мечты и не дает скатиться в «болото» разочарования. Коллизии, связанные с ожиданием, превратившимся в доверие, возникают тогда, когда обещание по каким-то причинам не выполняется. И тогда мы начинаем испытывать тревогу, которая помогает мобилизовать нашу волю и направить ее на предотвращение препятствий, связанных с возможным провалом наступления ожидаемого. Как доверие, так и надежда предвосхищают будущее, но в отличие от надежды, доверие более оптимистично: оно смотрит в будущее, как если бы последнее было предсказуемо, устойчиво и надежно. Основная функция доверия – «приручение» времени, снижение риска, связанного с непредсказуемостью ожидания будущего: последнее всегда чревато гораздо большими возможностями, нежели те, которые осуществляются в настоящем. Человек обречен жить в настоящем и «сосуществовать» с непредсказуемым будущим, которое он хочет сделать более надежным и предсказуемым. А поэтому он должен «подстригать» неопределенность времени «ножницами» доверия в то, что будущее может оказаться совместимым с настоящим. Выразить доверие – значит предвосхитить будущее, показать, что несмотря на всю неопределенность оно не только заслуживает надежды, но и может быть надежным. И потому доверие стремится свести неуверенность к минимуму, сделать надежду как можно более надежной.

Доверие – это ставка, сделанная из настоящего на будущее, с опорой на опыт прошлого. И эту ставку мы делаем в расчете не только на собственные способности и умения, но и в надежде на способности и умения тех лиц, которых мы облакаем своим доверием. Однако в этой ставке мы можем и проиграть, стать жертвой невыполненных обещаний. Доверие – это важный регулятор совместной жизни

ни людей, ибо в фундаменте всех общественных отношений лежит доверие, то есть вера в то, что каждый человек выполнит свои обязательства в соответствии с предписанными ему социальными ролями. Понятие роли имплицитно или эксплицитно содержит в себе доверие, ибо в сходных обстоятельствах, занимая идентичные социальные позиции, люди ведут себя несмотря на все свои индивидуальные различия в принципе одинаково, как будто их поведение обусловлено сценарием, который они разыгрывают на «подмостках» жизни. В этом смысле все люди – исполнители тех или иных социальных ролей: отцов, сыновей, граждан, банковских вкладчиков, клиентов, покупателей, продавцов, соседей, учителей, врачей.... «Играя» предписанные ему роли, человек не только демонстрирует качества, требуемые сценарием, но и подчиняет свои действия ожиданиям лиц, причастных к кругу его деятельности и признающих его способным выполнить возложенные обязанности, вменяемые ему его ролью. Доверие, которым облачают исполнителя социальной роли, повышает уверенность в том, что будущее можно сделать в достаточной мере предсказуемым. Способность человека выполнять определенные действия в настоящем, ожидание от него этих действий и возложенное на него доверие служат средством обуздания возможных угроз и опасностей, порожденных вторжением в настоящее неизвестного будущего.

В основе всех общественных отношений лежит доверие, что человек не злоупотребит своей свободой, выполнит свои обязательства, и его действия будут отвечать тем ожиданиям, которые вменяются ему его социальными ролями. Доверие основывается на мотивации, последний корень его заключен в субъекте, в его способности контролировать возмущающий потенциал своей свободной воли. Но действие человека в соответствии с предписанными ему институциональными ожиданиями еще не образует прочного основания, на базе которого могло бы возникнуть личное доверие. Чтобы последнее могло появиться, человек должен пройти испытание в ситуациях, сопряженных с риском потери к нему доверия. Чтобы утвердились прочные межличностные отношения, облеченный доверием должен иметь возможность, по крайней мере теоретически, злоупотребить ожиданиями доверяющих ему лиц. Более того, настоящее доверие возникает только тогда, когда человек строго соблюдает обязательства, которыми его облачают «кредиторы доверия», оставляя в стороне собственные интересы или даже жертвуя ими. Чтобы такая жертва могла служить залогом прочных отношений, доверие должно быть представлено как упущенная возможность, а не только как временная отсрочка предательства.

Человек восходит на вершину своих дарований, и теперь все ожидают от него полного раскрытия способностей, не позволяя ему расслабиться. Это ожидание и есть истинная плата за доверие к его заслугам. Когда такому человеку приписывают высокие качества, то что-то изнутри говорит его сознанию: «за работу, не расслабляйся, не останавливайся на достигнутом, в противном случае тебе грозит потеря доверия». Действительно, если по каким-либо причинам обещание не выполняется, то доверие ставится под сомнение или отнимается у его носителя. Может быть поэтому в переживании доверия, которым нас облачают другие, наряду с радостью торжества, иногда присутствует и некоторая доля смущения, ибо когда мы не очень уверены в собственных силах и боимся опуститься ниже того, чего от нас ожидают другие, то заранее предвосхищаем стыд, который и побуждает нас не отступать, а прилагать максимум усилий, чтобы удерживаться на высоте однажды завоеванного. Когда мы опускаемся ниже этого уровня, то заранее предвосхищаем разочарование со стороны значимых для нас лиц в связи с утратой возложенных на нас ожиданий и резонно опасаемся возможности потери их доверия.

Доверие базируется не только на ожиданиях, предъявляемых к способностям и заслугам конкретных людей, но и на признании ответственности институтов, общественных организаций и государства. С точки зрения Никласа Лумана, истина, деньги и власть являются общепризнанными символами доверия, которое помогают преодолеть сложность общественных отношений. Например, у меня заболели зубы, и я отправляюсь на прием к незнакомому мне стоматологу. Переступив порог его кабинета, я вижу на стене диплом о полученной им профессии и другие знаки отличия, подтверждающие его врачебные заслуги, и у меня возникает надежда, перерастающая в уверенность, что этот специалист, умудренный профессиональным опытом, не только облегчит терзающую меня боль, но и поможет устранить причины, связанные с моим недугом. То есть в данном случае в признании заключено доверие к прошлым заслугам человека и надежда на то, что в любой момент он может их подтвердить. Если бы врач не был в состоянии продемонстрировать свои заслуги перед пациентами, и если бы они не могли оценить его профессиональное мастерство, то ни о какой доверии не могло быть и речи. Доверие – это неявное или явное обещание врача завтра подтвердить свои способности, навыки и умения, ибо вчера он их уже продемонстрировал.

Аналогичная уверенность лежит в основе доверия к деньгам. Любой человек, владеющий деньгами, как считает Луман, имеет в своем распоряжении общепризнанное средство разрешения проблем и в любом жизненном контексте может заранее предвидеть специфические реакции [14, р. 88]. Большинство граждан доверяют покупательной способности денег, хотя им также известно, что последние только частично покрыты соответствующими финансовыми активами государства, которое в свою очередь надеется на то, что не все вкладчики захотят превратить свои сбережения в надежную валюту или в драгоценные металлы. Граждане верят, что государство обладает властью, чтобы гарантировать им безопасность и защитить их права, хотя им также известно, что государственная власть не в состоянии осуществить свои конституционные обязанности, если большинство людей взбунтуется и отвергнет ее распоряжения. Доверие между гражданами и государственной властью возможно там и тогда, где и когда существует совпадение взаимных ожиданий, хотя это не исключает возможности превращения стабильности в ненадежность, как это происходит во времена финансовых или политических кризисов.

Надежда и история в сослагательном наклонении

Возможность – это все то, что может произойти, за исключением невозможного. Последнее не означает, что будущая возможность предшествует реальности настоящего и ее себе подчиняет. Напротив, не существует ничего возможного, что не зависело бы от реальности ее практической реализации. Возможность – то, что может осуществиться, а может и не осуществиться или осуществиться, но совсем по-другому, чем мы на это надеялись. Какой бы лучезарной не казалась нам цель, освещающая наше будущее, путь, ведущий к ней, погружен в полумрак, и мы спотыкаемся, бредя к ней навстречу.

Люди, живущие в настоящем, связаны с будущим посредством надежд, прогнозов и целей, которые направляют их повседневную деятельность и сообщают ей определенный смысл. Наши представления о будущем оказывают несомненное влияние на то, как мы относимся к прошлому и каким образом мы переживаем настоящее. Эта способность к футуризации – одно из существенных свойств бытия человека в истории. Карл Ясперс как-то сказал, что отказ от будущего имеет своим последствием восприятие прошлого как чего-то завершенного, что само по себе является неверным. «Достоин-

ство человека, пытающегося осмыслить будущее, находит свое выражение как в прогнозировании возможного, так и в сочетании с ним в незнании, основанном на знании, принцип которого гласит: «мы не знаем, что нас ждет» [3, с. 164-165]. Без надежды на будущее невозможно понять и адекватно оценить мотивы, цели и ценности, служившие в прошлом стимулами поведения исторических агентов, которые, как и мы сейчас, были озабочены своим будущим. Их неосуществившиеся надежды, планы, проекты и мечты значили для них не меньше, чем их действия, уже вошедшие в «тело» истории. Только в своих возможностях человек есть то, кем он является, а следовательно то, кем он был в своих возможностях, и составляет в подлинном смысле его настоящее в прошлом.

Все люди, обитавшие в истории, жили в своем настоящем. И тем не менее современность настоящего, в котором мы живем, отличается от современности прошлых поколений тем, что у нее есть будущее. Только современный человек, пока он жив, располагает будущим. У наших предков, которые уже умерли, нет будущего; оно навсегда осталось для них в прошлом. Историк может, разумеется, сообщить нам о том, как люди прошлого представляли себе свое будущее, но эти представления (вместе с их агентами) также уже ушли в прошлое в качестве реализованных или нереализованных возможностей. Следовательно, невозможно до конца познать прошлое, не уяснив себе, как люди, жившие в нем, представляли себе свое будущее, на что они рассчитывали и к каким идеалам стремились. Наши предшественники жили в своем настоящем, и все их устремления и помыслы были направлены в свое будущее, которое для них (равно как и для нас) было открытым, неопределенным, исполненным надежды, иллюзии и тревоги. Всякое настоящее как для нас, так и для наших предков, «беременно» будущим, которое теоретически представляет широкий веер возможностей. Однако далеко не всякий вариант будущего может быть воплощен в настоящем и превращен в прошлое. На пути к будущему агенты истории отбирают только небольшую часть из всего веера возможных замыслов и проектов, которые они воплощают в реальность своего настоящего. Согласно Корнелиусу Касториадису, история мира никоим образом не делается священной, скорее она подлежит за это осуждению, от того, что в процессе ее осуществления были отброшены другие варианты возможных историй [6, р. 77]. Отсюда следует, что историк, который исходит только из случившегося и не принимает в расчет того, что могло бы произойти, но не произошло, лишает прошлое жизненного драматизма.

Почему отвергнутые варианты возможных «историй» в сослагательном наклонении или, как их называет Эрик Хобсбаум, контрафактов, имеет несомненное значение для понимания реальной истории? На первый взгляд, реальную историю составляет только то, что уже случилось и что уже навсегда отошло в прошлое, а не то, что могло бы случиться. Но с другой стороны, реальная история – это продукт деятельности живых людей, которые входят в различные (нередко антогонистические) группы, каждая из которых обладает своими планами, проектами и надеждами на их воплощение в реальную жизнь. Поэтому историку важно принять в расчет не только то, что уже случилось, но и то, что могло бы случиться, ибо только таким образом он получит возможность трактовать историю как борьбу различных общественных групп, каждая из которых располагала своими возможностями и из своего прошлого (которое для них было настоящим) пыталась воплотить в своем будущем (которое для нас уже стало прошлым) то, что она считала для себя важным, целесообразным, оптимальным или справедливым.

Открытость, неопределенность и известная неуверенность в будущем составляют предпосылки нашего бытия в настоящем, несмотря на то, что наше сознание стремится преодолеть эту неопределенность посредством доверия, которое сообщает трем временным модулям стабилизирующую преемственность. Люди прошлого также испытывали в свое время неуверенность и возлагали надежду на свои возможности. Некоторые из них вошли в тело истории, реализовались, тогда как другие не осуществились, хотя могли бы осуществиться. И мы это знаем, тогда как предшествующие поколения этого не могли знать, как и мы в этом году не можем с абсолютной точностью предвидеть, что произойдет с нами на будущий год. Именно благодаря историческому знанию мы можем утверждать, что располагаем большими сведениями относительно прошлого человечества, чем оно знало о себе в своем настоящем. Мы располагаем несомненными преимуществами перед историческими агентами прошлого: нам известны не только их планы и надежды, но и конкретные результаты их реализации, воплощенные в последующих событиях. Поэтому мы можем с большей точностью оценить их достижения, установить причины их просчетов и неудач, ибо мы располагаем информацией не только о настоящем их прошлого, но и сведениями о всей их жизненной траектории, включая неизбежный финал.

Но одни только «голые» результаты без учета всего веера возможных событий и контрафактуальных сценариев «выпрямляют» историю, превращают ее в однолинейный процесс и ведут к утрате

драматизма жизни прошлых поколений. Согласно британскому историку Ниайлу Фергюсону, если история чревата различными возможностями, то несомненно мы должны принять во внимание все будущие варианты, которые тогда мыслились. Если историк воспроизводит в своем историческом знании только конечный результат, отбрасывая другие альтернативы, которые люди прошлого считали вполне достижимыми, то он не может рассчитывать на понимание прошлого таким, каким оно было в действительности. Принимая во внимание только возможность, которая реально произошла, он совершает типичную телеологическую ошибку. Чтобы понять, как дело обстояло в действительности, мы должны уяснить себе, как этого дела в реальности не было, но могло бы быть в глазах современников. Это утверждение является тем более верным тогда, когда реальная развязка случается неожиданно, и ее никто не принимает во внимание, пока она не наступит [9, р. 83].

Большое видится на расстоянии, сказал Сергей Есенин. Классики, возведенные в этот ранг в последующие эпохи, иногда и не подозревали, что войдут в историю в ореоле всеобщего признания. Но гораздо чаще настоящее непомерно раздувает заслуги «калифов на час». Проходит время, и «цензор» исторического признания свергает эти фигуры с пьедестала небожителей, низводя их в лучшем случае до уровня мелких деятелей своей эпохи, и не больше. Мы презирали бы преувеличенные заслуги своих современников, если бы заранее знали, что будущее развенчает их потуги на славу. К сожалению, никто не обладает безошибочным чутьем в оценке величия современников, и только время, часто за пределами их бытия, открывает возможность понять и оценить масштаб их значимости. Смерть, между прочим, – это трагическое откровение в частности потому, что проливает новый свет на значения действий умершего, которые ранее нам казались не вполне понятными, а самое главное, смерть дает нам возможность полнее представить масштаб ушедшей в небытие личности и адекватнее оценить ее роль в исторических событиях.

Надежда и страх смерти

Каждый человек стремится облегчить груз своих жизненных забот, но цепь неудач в осуществлении желаний или непредвиденные случайности могут сорвать эти планы, а самого его поставить на грань отчаяния. Если разочарование выщипывает перья из крыльев надежды, то отчаяние подрезает сами эти крылья и ввергает отчаяв-

шегося в пучину экзистенциальной тоски. Высшим проявлением силы отчаяния является страх смерти. Как это не парадоксально, но противоядием от отчаяния для человека, утратившего надежду, могло бы служить разочарование, хотя эта «прививка стоицизмом» чревата бесстрашием квиетизма или безжалостностью цинизма. Вся наша жизнь в сущности есть борьба со смертью, в которой нам заранее известно о своем неминуемом поражении. Стало быть, жизнь – это трагедия уже потому, что нашему существованию имманентно присуще предвосхищение будущего небытия. Это предвосхищение выражается в переживании тоски – невыразимого страха перед «ничто», ибо человек, одержимый тоской, не может ясно объяснить, чего же он в действительности боится, и потому он говорит, что боится чего-то конкретного, иными словами, он «переодевает» свою тоску в конкретный страх перед будущей агонией смерти, что само по себе не является выражением неизъяснимой тоски перед «ничто».

Итак, человек знает, что он обречен на смерть, но, увы, он не всегда обладает достаточными экзистенциальными ресурсами, чтобы противостоять этой трагической истине, и это нередко заставляет его прибегать к последнему «ресурсу» – вере в бессмертие, которую можно назвать отчаянным вызовом безумной надежды, брошенной беспросветной тоске. Если бы эта «сумасшедшая надежда» не легитимировалась религией, с иронической усмешкой вопрошает Чоран, то какой верующий избежал бы угрозы быть помещенным в психиатрическую клинику? Надменность конкистадора бледнеет перед самонадеянностью верующего, обращающегося с молитвой к своему Создателю. Откуда в нем такая дерзость? И как скромность может служить украшением храмов, если ветхая старуха воображает, что она – обладатель Бесконечности, и в своей молитве поднимается на такую высоту надежды, на которую не осмелился бы взойти даже самый надменный тиран? [7, р. 106]. В отличие от религиозного сознания, претендующего превзойти кратковременность человеческого бытия иллюзией вечности, иррелигиозное сознание не заходит так далеко: оно лелеет лишь скромную надежду сделать реальное существование человека немного лучше.

Смерть каждого из нас принадлежит к будущему, возможно, к самому далекому будущему, уготованному нам судьбой. Для меня это будущее никогда не наступит, потому что, когда смерть придет, меня уже не будет. Пока теплится надежда, человек о ком-то заботится, куда-то стремится, о чем-то мечтает. Но как только его заверят, что смерть наступит в урочный час, все для него радикальным образом изменится, ибо будущему несмотря на все наши усилия его

обуздать и поставить себе на службу свойственно быть неопределенным, неожиданным и парадоксальным.

Homo sapiens – единственный вид, члены которого сознают наступление смерти на протяжении всей своей жизни. Смерть – это не только неизбежное событие, наступающее в силу естественных причин, но и всегда присутствующая возможность, сцепленная со всеми другими возможностями, свойственными человеческому бытию. Жизнь человека была бы совсем иной, если бы сознание смерти приходило к нему накануне его небытия, а не сопровождало бы его на протяжении всей жизни. Как бы там ни было, но существование каждой личности приобретает неповторимую индивидуальность в силу осознания им неизбежности собственной смерти, и это переживание сопровождает его с детства и до самого последнего вдоха.

Для каждого из нас смерть – это самая интимная возможность, замыкающая нас в самих себя. В самом деле, пишет Янкелевич, речь идет обо мне, это меня смерть называет по имени, это на меня она показывает своим пальцем, это меня она дергает за рукав, не позволяя мне пройти мимо и притвориться безучастным; истекли все возможные сроки, нет никакого выхода, отсрочка на будущее уже невозможна, как и невозможно несмотря на все отчаянные попытки доказать мою непричастность к смерти [11, р. 37]. И потому истинное причастие – это не «причастие» к благодати Бога, а приобщение к сознанию смерти. Смысл этого «причастия» можно выразить так: твоя жизнь принадлежит тебе и только тебе; никогда, во веки веков, и нигде, ни в каком уголке бесконечной Вселенной не появится существо, тебе идентичное.

Перед лицом угрозы смерти человек иногда проходит через метафизический искус. Он спрашивает себя: неужели я пришел в этот мир лишь для того, чтобы исчезнуть навсегда и не оставить после себя никакого следа? Человека пугает мысль о предстоящем уходе из бытия, но пожалуй еще большую тоску на него наводит мысль о том, что он может умереть существом незначительным. Не иметь никакой надежды быть общественно признанным иногда ему кажется хуже печали, порожденной мыслью о неизбежности грядущего небытия.

Всякий рожденный знает, что рано или поздно он должен умереть. Смерть придет к каждому человеку, независимо от его рангов и званий, и никому не дано избежать рокового часа. И тем не менее смерть – это глубоко интимное событие или, в терминах Янкелевича, – «приватное несчастье». Никогда и не при каких обстоятельствах мы не сможем стать очевидцами собственной смерти, ибо наша

смерть находится в будущем на протяжении всей нашей жизни. Несмотря на свою неизбежность смерть почти всегда для нас нежелательна, почти всегда нами гонима, почти всегда мы откладываем ее приход на будущее и почти всегда мы ей говорим: «Подожди! Я знаю, что ты придешь, так приходи, но не сегодня, а как-нибудь в другой раз». Роковой миг судьбы признается, но пока человек жив, он лелеет надежду на отсрочку наступления неизбежного. В той мере, в какой время прихода смерти неопределенно, задержка неминуемого может служить предметом надежды. Да, смерть придет, в этом нет и быть не должно никакого сомнения; в этом приключении, именуемом жизнью, не нами, кстати, выбранной, развязка заранее известна, но оттяжка рокового срока дарит чувство смутной надежды и позволяет даже тяжелобольному думать о завтрашнем дне, а ветхому старику ждать прихода новой весны. Перед бесконечностью времени жизнь человека – *почти ничто*, которое в недалеком будущем утратит *почти* и превратится в *ничто*. Но человек сопротивляется ему, ибо понимает, что *почти ничто* – это все, чем он располагает. И когда ему кажется, будто все возможное стало невозможным, будто жизнь потеряла всякий смысл и ничто ему уже не поможет, но если в нем еще теплится надежда, то эта надежда и есть подлинное чудо.

Надежда питается желанием, о котором человек твердо не знает: сбудется оно или не сбудется. И наоборот, если бы реализация цели зависела только от его желания, то из надежды оно превратилась бы в намерение воли. Несчастный человек – это не тот, кто ничего не ждет, а тот, кто уже не ничего не желает, кто понимает, что от его усилий уже ничего не зависит, и это немощность ведет к утрате всякой надежды. Умирающий находится в ужасной ситуации, когда дата прихода предстоящей смерти, в отличие от возможности умереть в любой день, строго установлена и ему известна, как если бы судьба вынесла ему судебный приговор, никакому обжалованию не подлежащий. И такая ситуация ввергает его в ад отчаяния. Точный срок наступления смерти не только отнимает у него решимость на реализацию забот в настоящем, но и, что самое главное, отнимает всякую надежду на будущее – последний бастион его внутренней свободы. Именно поэтому человек откладывает дату прихода своей смерти, бунтует против неизбежности жизненного финала. Когда срок смерти неопределен, он говорит: «нет сомнения в том, что я умру, но умру-то я, конечно, не сегодня, а позже, в день, у которого нет пока конкретной даты и о приходе которого мне сейчас нет нужды обременять себя печальными думами».

Если бы человеку была заранее известна дата прихода собственной смерти, то можно предположить, что он не тратил бы свою жизнь на осуществление недостижимых проектов; работал бы над реализацией задач, которые могут быть выполнены в пределах отведенного ему срока бытия. Но если бы это было так, то многие проекты не были бы им даже начаты. Кроме того, знание конкретной даты финала жизни не только отняло бы у человека решимость на осуществление долгосрочных программ, но и лишило бы его чувства надежды, возможное лишь при условии неведения.

Никто не наделен опытом собственной смерти, и тем не менее, как это не парадоксально, каждый человек твердо знает, что он обречен. Сознание смерти – это очевидность, но очевидность другого рода, чем аподиктическая достоверность, которая дается в непосредственном опыте. Несмотря на то, что мы сознаем неотвратимость собственной смерти, сама она нам недоступна, ибо, по словам Эпикура, мы с ней несовместимы: «Когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет». Моя смерть, принадлежит к будущему, возможно самому далекому для меня будущему. Это будущее для меня никогда не наступит потому, что, когда смерть придет, меня уже не будет.

Существование, лишённое надежды

В «Божественной Комедии» Данте перед входом, ведущим в ад, где осужденные Богом грешники были приговорены к вечному искуплению своей неизгладимой вины, было начертано: «Оставь надежду всяк сюда входящий». Эту атмосферу безысходности существования обитателей ада хорошо передал Эмиль Чоран, говоря о том, что ад есть настоящее, которое никуда не движется, это напряжение монотонности, вечность, обращенная вспять, которая ни к чему не приводит, даже к смерти. Если время, которое течет и разматывается, дает какое-то скорбное утешение на надежду, то чего можно ожидать здесь на самой глубине бездны, откуда и упасть-то уже невозможно и где нет даже надежды на другую пропасть? Чего следует ожидать от этого зла, которое повсюду подстерегает и которое только и кажется, что существует в целом свете [8, р. 147]. Из этого описания следует, что ад – это такое «пространство», в котором время не течет, где нет ни воспоминания о прошлом, ни надежды на будущее, а есть только одна монотонная чередка настоящего, заполненная невыразимыми страданиями. Именно безысходность судьбы грешников дантовского ада принципиально роднит ее с безвыходной участью обитателей гит-

леровских и сталинских концентрационных лагерей. И именно эту фатальность подтверждают первые летописцы Освенцима и Колымы – Варлам Шаламов, Примо Леви и Роберт Антельме, прошедшие сквозь все круги лагерной преисподни.

По свидетельству бывших узников ГУЛАГа и Холокоста, в лагере не существовало практически никакой возможности разделить чужую радость или посочувствовать чужому горю. Обе они в сущности были бесполезны: первая потому, что вызывала раздражение, а вторая потому, что у каждого заключенного и без того хватало собственных бед. Вопреки распространенному мнению о том, что дружба как высшая форма доверия зарождается на почве вместе выстраданных страданий, Шаламов констатирует, что в условиях нечеловеческих мук настоящая дружба практически невозможна. «Если беда и нужда сплотили, родили дружбу людей – значит, эта нужда не крайняя и беда небольшая. Горе недостаточно остро и глубоко, если можно разделить его с друзьями. В настоящей нужде познается только своя собственная душевная и телесная крепость...» [2, с. 112].

Знаменитый австрийский психиатр Виктор Франкл (бывший заключенный нацистских концлагерей) приводит изречение Фридриха Ницше: «Кто имеет то, во имя чего ему следует жить, тот способен выдержать любое как». С точки зрения Франкла, заключенным необходимо было выработать в себе то, во имя чего им стоило бы жить, чтобы, укрепив свой дух, вынести ужасное бремя своего невыносимого настоящего. Несчастен был тот, считает австрийский психиатр, кто не видел никакого смысла, не имел никакого намерения, а потому и никакой цели в том, чтобы жить. Этот был заведомо обречен [10, с. 147]. Шаламов не отрицает того, что многие узники имели некую экзистенциальную опору, которая приносила им определенное облегчение и поддерживало в их душах слабый уголек надежды. «Я знаю, – пишет Шаламов, – что у каждого человека здесь было свое самое последнее, самое важное, то, что помогало жить, цепляться за жизнь, которую так настойчиво и упорно у нас отнимали» [2, с. 233]. Однако на Колыме, где время уже не течет (это не значит, что оно перестало быть ненадежным и угрожающим; время остановилось потому, что оно непредсказуемо, потому что каждый день мог оказаться последним для обитателя мертвого дома), надежда могла превратиться в дополнительную пытку, способную усугубить и без того невыносимые страдания узника. «Надежда для арестанта – всегда кандалы. Надежда всегда несвобода. Человек, надеющийся на что-то, меняет свое поведение, чаще кривит душой, чем человек, не имеющий надежды» [2, с. 233].

В условиях утраты границы между жизнью и смертью, уповать на будущее, лелеять надежду обмануть свою судьбу – значит, с точки зрения бывших заключенных Колымы и Освенцима, предаваться опасному искушению, способному породить лишь пустые иллюзии и ослабить инерцию жизненного инстинкта. Ад Освенцима и Колымы не компенсировал презрение к смерти уважением к жизни. Инстинктивно узник сознавал, что он принадлежит не к жизни, а к смерти, а потому «сегодня» воспринималось им не как промежуточный пункт между «вчера» и «завтра», а как нескончаемая длительность, порабощающая его сознание необходимостью удовлетворять элементарные потребности существования и преодолевать многочисленные страдания настоящего. В сознании узника время воспринималось как бесконечно-медленное и изнурительно-монотонное «теперь», подчиняющееся ожиданию приема пищи, сна или окончанию изнурительной работы. Настоящее становилась пыткой, исполненной безысходной тоски: узник как бы заживо гнил в ущербности собственного бытия, из которого он не видел никакой надежды на выход. А если какой-нибудь новичок спрашивал ветерана: когда же наступит конец нескончаемым мукам, то последний, горько улыбаясь наивному вопросу, отвечал: «Morgen früh» – завтра утром. Перед инстинктивной заботой поддержания существования надежда на будущее утрачивала всякий смысл. Заключенного гораздо больше волновало, чем будут его кормить сегодня, выпадет или не выпадет завтра снег, погонят или не погонят его на разгрузку угля?

В нормальных условиях жизни человек стремится сохранить темпоральное единство своей личности посредством ментального усилия, направленного на соединение прошлого с будущим, в горизонте которого и осуществляется подлинный смысл настоящего. В сознании же узника-доходяги это усилие исчезало, что вело к распаду единства его личности. В одном из своих рассказов Шаламов описывает, как два заключенных ночью раскапывают могилу, чтобы снять одежду с мертвеца, а затем обменять ее на хлеб и табак. Один из «грабителей» оцарапал себе палец и какое-то время не мог остановить кровь. «Плохая свертываемость, – равнодушно сказал Глебов. «Ты врач, что ли?» – спросил Багрецов, отсасывая кровь. Глебов молчал. Время, когда он был врачом, казалось очень далеким. Да и было ли такое время? Слишком часто тот мир за горами, за морями казался ему каким-то сном, выдумкой. Реальной была минута, час, день от подъема до отбоя – дальше он не гадал и не находил в себе сил загадывать. Как и все... То сознание, которое еще оставалось и которое, возможно, уже не было человеческим сознани-

ем, имело слишком мало граней, и сейчас было направлено лишь на одно – чтобы скорей убрать камни» [2, с. 11].

Обычно у человека, пленника тревоги, вызванной каким-либо несчастьем, нет другого намерения, как поставить перед собой скромную цель или выработать маленький довод, чтобы надеяться (какой бы туманной не была надежда) на облегчение боли или на преодоление страдания. Но для колымского или освенцимского узника чувство надежды – это род интенсивной терапии, применяемой к безнадежному больному: она способна продлить лишь его агонию, но не его жизнь. Он живет сегодня, а если повезет, то, вероятно, будет жить и завтра: заглядывать дальше – значит только понапрасну искушать собственную судьбу.

Но когда сила на короткий срок возвращалась в изнуренное и ослабленное тело, заключенный мог употребить ее для сведения последних счетов со своей жизнью. В рассказе «Тишина» Шаламов повествует о своем напарнике, молодом сектанте, который, чтобы подбодрить себя, распевал религиозные гимны и псалмы и этим невольно раздражал своих смертельно уставших товарищей. Он часто говорил, что хотел бы умереть, но где найти силы для приведения в исполнение приговора, вынесенного трибуналом собственного сознания? Однажды на Колыму приехал «воспитатель» из Москвы и решил провести эксперимент – хорошо накормить доходяг, чтобы они смогли выполнить производственный план. Этот эксперимент провалился, так как одной нормальной кормежки было явно недостаточно, чтобы восстановить истощенные хроническим недоеданием силы узников. Но этой порции оказалось достаточно, чтобы напарник писателя поднялся и пошел за запретную зону, в туман. Раздался выстрел, потом другой... «И холодея от догадки, – пишет Шаламов, – я понял, что этот ночной обед дал силы сектанту для самоубийства. Это была та порция каши, которой недоставало моему напарнику, чтобы решиться умереть, – иногда человеку надо спешить, чтобы не потерять волю на смерть» [2, с. 191].

Этот рассказ помогает понять парадокс: почему в нечеловеческих условиях существования заключенные так редко прибегали к самоубийству. Размышления Примо Леви, пленника Освенцима, дополняют свидетельство узника Колымы. Во-первых, полагает Леви, самоубийство – это, как правило, не инстинктивный, а сознательный поступок, предполагающий размышление и возможность выбора, тогда как в лагере для не существовало никаких условий для свободного выбора; узники жили подобно скоту на живодерне, обреченные на смерть и медленно убиваемые. Во-вторых, существовали более не-

отложные заботы, препятствовавшие сведению последних счетов с собственной жизнью. Непосильная работа, голод, холод, стремление избежать избиений не оставляли времени для размышления о самоубийстве. Когда кто-то умирает, свидетельствует Леви, то он думает не о собственной смерти, а о других вещах. Организм тратит все силы на то, чтобы обеспечить себя дыханием [13, р. 535]. Узник, влачащий жалкое существование, впадает в состояние своеобразной эмоциональной летаргии. Агония и смерть его товарищей – дело настолько обычное, что он утрачивает всякое к ним сострадание. Эта эмоциональная атрофия влечет за собой не только утрату сочувствия к чужой боли, но и заглушает чувство ненависти к палачам. Истощенный до последнего предела узник делается бесчувственным даже к страданиям собственного тела. Об этом свидетельствует опыт Варлама Шаламова: «Я дал слово, что если меня ударят, то это и будет концом моей жизни. Я ударю начальника, и меня расстреляют. Увы, я был наивным мальчиком. Когда я ослабел, ослабела и моя воля, мой рассудок. Я легко уговорил себя перетерпеть и не нашел в себе силы душевной на ответный удар, на самоубийство, на протест» [2, с. 194]. Решимость на избавление от нескончаемых страданий самоубийством вытеснялась на периферию сознания. На первый план выдвигались тысячи мелких забот и страданий и бессознательная инерция их как-то перетерпеть. Существование заключенного-доходяги превращалось в печальный парадокс: обессиленный, он не мог добровольно убить себя, но и не хотел продолжать загнивать заживо, ибо голод и лишения отняли у него не только силы, но и надежду на «последнее освобождение».

Чувство ненависти к истязателю, причиняющему неоправданную боль невинному, является, несомненно, более высшей ступенью нравственного сознания, чем утешение в том, что ты еще жив. «Это чувство спасительно, как белый флаг, и в то же время это – примирение с непримиримым» [2, с. 213]. «Примирение с непримиримым» потому, что заставляет узника признать: терпеть такого рода унижения – значит превратиться в жалкого червя. И эта утрата человеком своего облика, его трансформация в «ходячий труп» или, на жаргоне заключенных Освенцима, в «мусульманина», была неизбежной участью подавляющего большинства заключенных.

Согласно Примо Леви, у всех «мусульман», закончивших свою жизнь в газовой камере, была одинаковая история, вернее сказать, у них не было никакой истории. Подобно ручью, впадающему в море, судьба влекла их по наклонной плоскости на самое дно смерти. Их жизнь – коротка, но количество их – несметно; это они, *Muselmänner*,

доходяги, костяк лагеря, анонимная масса, постоянно обновляемая и всегда одинаковая, не люди, которые шагают и молчаливо работают, в них навсегда угасла искра божья. Они настолько опустошены, что у них не осталось даже сил, чтобы обнажить свои муки. Можно ли назвать их живыми, можно ли их смерть назвать смертью, если они утратили всякий страх перед нею; вконец обессиленные, они уже не понимают ее смысла. Своим безымянным присутствием, вспоминает Леви, они населяют мою память, и если бы можно было сжать все зло нашего времени в один образ, то я выбрал бы образ этого изнуренного человека, с опущенной головой, согнутой спиной, в чьих глазах нельзя прочесть ни малейшего намека на мысль [13, p. 120-121].

С точки зрения Роберта Антельме, крайняя степень обезчеловечения «мусульманина» ставит под вопрос возможность его отнесения к биологическому виду *homo sapiens*. Бывший узник Освенцима, сам побывавший в этом обличье, полагает, что именно «мусульманин» является той границей, которая отделяет человека от недочеловека. Утверждение о том, что мы ощущали свое изгойство из человечества, как члены его вида, пишет он, может показаться чувством ретроспективным, последующей интерпретацией фактов, но именно это чувство мы постоянно переживали, и непосредственно ощущали, и как раз это, именно это и хотели нам внушить другие. Отрицание в тебе человека вызывает почти биологическую потребность в принадлежности к человеческому виду» [4, p. 23]. Надежда на возвращение к утраченному в себе человеку – это последний Рубикон, который побуждал чудом выжившего «мусульманина» отстаивать свою человечность и утверждать право каждого человека на утверждение своего незаместимого бытия. Сама жизнь человека – непрерывная цепь надежд или, в терминах Габриэля Марселя, «полотно, из которого соткана его душа».

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Ларошфуко Ф. Максимумы. Паскаль Б. Мысли. Лабрюйер Ж. Характеры. М., 1973. С. 148.
2. Шаламов Варлам. Колымские рассказы. М.: Современник, 1991. 526 с.
3. Ясперс Карл. Смысл и назначение истории. М., 1991.
4. Antelme Robert. La especie humana. Mexico: Era-Trilce, 2002. 359 p.
5. Bloch Ernst. El principio esperanza. Madrid: Trotta, 2004. Т. 1. 548 p.
6. Castoriadis Cornelius. El mundo fragmentado. Montevideo: Altamira, 1998. 223 p.
7. Cioran Emil Michel. Breviario de podredumbre. Madrid: Taurus, 1991. 207 p.
8. Cioran Emil Michel. La caída en el tiempo. Barcelona, 1993. P. 147.

9. *Ferguson Naill*. Historia virtual: hacia una teoria caotica. En: Historia virtual. Madrid: Taurus, 1998. 458 p.
10. *Frank Viktor*. El hombre en busca de sentido. Barcelona: Herder, 1993. 198 p.
11. *Jankelevitch V*. La muerte. Valencia, 2002. P. 37.
12. *Lain Entralgo Pedro*. La espera y la esperanza. Historia y teoria del esperar humano. Madrid: Revista de Occidente, 1962. 589 p.
13. *Levi Primo*. Trilogia de Auschwitz. Mexico: Oceano, 2005. 652 p.
14. *Luhmann Niklas*. Confianza. Santiago de Chile: Anthropos, 1996. 178 p.
15. *Ortega y Gasset Jose*. Que es filosofia? Mexico: Gedisa, 1986. 282 p.
16. *Sartre Jean-Paul*. El existencialismo es un humanismo. Mexico: Quinto Sol, 1995. 67 p.

RESUME

Mikhail Alexeyevich Malyshev, Professor of the Autonomous University of Mexico state, Mexico, member of editorial boards of the scientific journals La Colmena», «Coatapes», «Ciencia ergo sum» Mexico-city, Mexico
mijailmalyshev@yahoo.com.mx

Anatomy of hope experience

The paper is devoted to the phenomenological analysis of hope experience. The author attempts to define the status of hope as anticipation of future, to link the category under analysis with kin notions (anguish, anxiety, despair), to discover similarity and difference between hope and trust, to appreciate the role of hope in motivation of conduct of history agents and, at the end of ends, to discover specific nature of existence deprived of hope. With respect to the last discovery, the author grounds his analysis upon evidences, testimonies and confessions of prisoners of the death camps of Kolyma and Osventsim.

Time, hope, trust, hopelessness, anxiety, meaning, experience.

Материал поступил в редколлегию 16.03.2009 г.